

“ФЕВРАЛЬСКО-ОКТЯБРЬСКИЙ” АЛГОРИТМ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

(Размышления над книгами А. Н. Яковлева и Д. А. Волкогонова)

В последние годы регулярно издаются и переиздаются книги главного идеолога “перестройки” академика-философа Александра Яковлева и бывшего заместителя начальника Главпура Советской Армии, доктора философских и исторических наук Дмитрия Волкогонова (1928-1995). Выходят они немалым тиражом и посвящены критике и разоблачению большевистской теории и практики, основателя и вождей большевизма.

В этих книгах, наряду с рассуждениями о судьбах великой страны, явно звучит исповедальный мотив; это документы их личного покаяния. Как бы то ни было, я принципиально не ставлю под сомнение искренность Яковлева и Волкогонова. Но дело в том, что политические и моральные оценки – это одно, а объективное место в истории – это другое. И здесь я выдвигаю тезис: *их критика большевизма не выводит их за рамки большевизма*: этим и должен был завершиться рано или поздно его исторический и идейный круг.

На первый взгляд это звучит парадоксально, и со мной, наверное, не согласятся как нынешние коммунисты, так и их противники из либерально-демократического лагеря. Однако напомним, что Ф. Энгельс в работе “Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии” отвел *материалисту* Фейербаху последнее место в ряду великих немецких *идеалистов*. После Гегеля Фейербаху ничего не оставалось как проделать работу отрицания самого идеалистического принципа, который разрабатывали его предшественники. Иначе он сам не был бы великим. По аналогии я утверждаю, что таково же место А. Н. Яковлева в идейном большевизме, где на первом месте стоит, естественно, Ленин. Но дело в данном случае не в персоналиях; дело в том, что, по-моему мнению, большевизм “записан” в коде российской государственности, так что она время от времени вынуждена переживать его, как свою судьбу, и порождать соответствующий тип исторических деятелей.

Данная статья представляет собой развертывание вышеизложенного утверждения. При этом я полемизирую с Яковлевым и Волкогоновым, которые, по-моему мнению, донельзя морализировали нашу историю и современность, лишая нас возможности что-либо в них понять.

Между “февралем” и “октябрем”

Узел 17-го года. Его завязал *Февраль*, а разрубил *Октябрь*. Февраль был “славной революцией”, Октябрь – большевистским переворотом, узурпацией власти. Февраль вывел Россию на демократическую орбиту, Октябрь сорвал с нее. В результате Россией был утрачен уникальный шанс демократического развития, отказа от тысячелетней традиции управления государством авторитарными методами. Такова точка зрения Яковлева и Волкогонова на узел 1917-го года. Прямо скажем: это повторение эсеров-меньшевистской, эмигрантской схемы.

Наиболее усердно отстаивает ее в своих двухтомниках “Ленин” и “Семь вождей” Д. Волкогонов. В ряде мест он внушает читателю, что если бы не “контрреволюционный октябрьский переворот”, если бы устоял демократический Февраль, то мы бы сейчас купались в благосостоянии, а Россия была бы могущественным, демократическим государством, занимающим передовые позиции в мире по всем направлениям [1].

А. Н. Яковлев гораздо “умнее”. В книге “Горькая чаша” он пишет об “очередном историческом парадоксе, когда демократия, не желая того, создавала условия для прихода диктатуры” [2]. Прежде всего он указывает на некомпетентность и дилетантизм, особенно в области экономики, Временного правительства. Его действия, по мнению академика, “удобрили почву для захвата власти большевиками”, и в конце концов оно “фактически без борьбы отдало им эту власть” [3]. Скажу больше: Яковлев близок к открытию, когда на страницах “Горькой чаши” указывает на главную черту февральской демократии – митинговость. *“Митинговая демократия несла в себе бациллы саморазложения, укрепляла идеологию нетерпимости. ...Революцию шаг за шагом заменял русский бунт”* [4]. Хочу поправить: революция – это и есть бунт. Именно стихия русского бунта сначала создала Февраль, а затем опрокинула его в Октябрь, разлившись по просторам России гражданской войной. Как заметил А. И. Солженицын: “Революция – это хаос с невидимым стержнем. Она может победить и никем не управляемая” [5].

Солженицына я цитирую не случайно. В книге “Ленин” Волкогонов 12 раз сослался на его историко-художественные произведения в подтверждение своих взглядов. Видимо, ему осталась неизвестной работа Солженицына “Размышления над Февральской революцией” (1983 г.), а иначе он бы понял, что “великий писатель” (так он величает Солженицына) является самым настоящим его оппонентом *справа*. Принципиальный противник революций, Солженицын, что называется, “с порога” не приемлет Февральскую революцию, характеризует ее атмосферу как “духовно омерзительную”, ее идеи как “плоские”, а ее руководителей как “ничтожных” [6].

Солженицын видит то, что в упор отказывается замечать доктор исторических наук, а именно: Февраль и Октябрь были двумя последовательными вехами одной и той же Социальной Революции, которая завершилась в начале 30-х гг. сталинской контрреволюцией. Не будь Февраля, не было бы и Октября. Что касается “узурпации” власти, то и здесь Февраль дал пример Октябрю. И это понятно: *всякая* политическая революция начинается именно с этого – с незаконного захвата власти и уничтожения правового поля. Так, Солженицын пишет: “С первого же своего шага Временное правительство отшвырнуло и убило Думу (и тем более – Государственный Совет) – тем самым захватило себе и законодательную власть. ...Большого беззакония никогда не было совершено ни в какое царское время: любая “реакция” всегда опиралась на сформулированный и открыто объявленный закон. Здесь же похищались все виды власти сразу – и необъявленно” [7]. Писатель обвиняет Временное правительство в уничтожении по всей России всякой администрации, полиции, секретных служб. И, как бы споря с Волкогоновым, итожит: “И это все сделали не большевики и не инспирировали немцы – это все учинили светлоумные российские либералы” [8].

Волкогонов подчеркнуто именует Февраль *революцией* в пик Октябрьскому *перевороту*. При этом странным образом упускает из вида то обстоятельство, что *логика революции есть логика гражданской войны* и что именно Февраль начал раскручивать эту логику, которая, в конце концов, привела к власти *партию гражданской войны*. Февраль первым начал лить кровь. Февраль развалил армию и управление страной. Февраль дал разыгаться политическим страстям: власть была слишком слабой и доступной для всех. Февраль дал сигнал голодным, бедующим массам к грабежу и незаконному переделу собственности. И это все на фоне демократической суеты и болтовни о свободе. В общем, Февраль был разложением, именовавшим себя развитием.

Волкогонов считал Октябрь отрицанием Февраля. С нашей точки зрения, *Октябрь есть катастрофическое продолжение Февраля*. Все политические силы – и большевики, и их противники – так или иначе “работали” на Октябрь. Так почему же в волкогоновской схеме февральско-октябрьская ситуация упрощенчески сводится к заговору большевиков против демократии? Тут имеется свое объяснение, но об этом ниже.

Для Яковлева и Волкогонова “*февраль*” есть символ полосы демократического развития, политики гражданского мира и согласия, тогда как “*октябрь*” символизирует срыв в диктатуру, политику гражданской войны. Две крайние точки, описывающие *алгоритм революционного развития*. Этот алгоритм, как часовой механизм мины, вновь заработал в период “перестройки”. Яковлев высказал мнение, что на определенном ее этапе “появилась бесспорная возможность перейти с октябрьской на февральскую почву” [9]. Но тогда реванш “февраля” не удался. Заметим однако, что “февральское” движение еще до 1991 года в сознании чувствительных современников воспринималось совсем иначе, чем в демголовах “февральских” политиков.

“Перестройка – это война.

Не разведка и не
пристрелка.

Переломанная страна.

Разобщенных людей разделка.

.....

У шакалов глаза мутны –

их кровавая ждет попойка –

в наше время гражданской войны

под названием “перестройка”...

Эти строки написал поэт В. Хатюшин. И как прозорливо!

Думается, что в тот момент, когда “перестройка” начала движение от “октября” к “февралю” (в 1989 г.), - именно в тот момент заработал революционный алгоритм. А дальше уже была “перестройка, которую мы потеряли”: конец полосы эволюционного преобразования советского общества и государства.

История постперестроечной России вновь оказалась зажатой в “февральско-октябрьском” узле. Ельцинский режим лавирует в этом поле, руля посредством смены правительств то влево, то вправо. Изменение политического курса с приходом очередного кабинета позволяет лишь выиграть время, но не может устранить неизбежности нового кризисного толчка. В такой ситуации все правительства обречены, поскольку возможности леветь и править *без угрозы правящему режиму* сильно ограничены.

После августовской революции 1991 г. в России возникла “февральская” политическая ситуация – двоевластие. В октябре 1993 г. это двоевластие было сломлено в пользу президентской власти: в стране установился авторитарный режим, подкрепленный соответствующей конституцией. Октябрьские события 1993 г. находят свою пару в июльских событиях 1917-го. Что будет дальше? Неужели впереди маячит “октябрь”? Совершенно очевидно одно: необходимо вырваться из начиненного социальной взрывчаткой февральско-октябрьского поля – не за его рамки, *а по ту сторону*, перевести страну в русло эволюционного развития. А пока мы продолжаем быть свидетелями развития ситуации *внутри* революционного алгоритма.

Дон-кихотство в политике

В третьей главе волгогоновской книги “Ленин” есть раздел, названный автором “Ленин и Керенский”. Естественно, он построен на сравнении. Используется прием гиперболизации: насколько личность Ленина демонизируется, настолько личность Керенского “ангелизируется”. Автор с большим сочувствием рисует А. Ф. Керенского дон-кихотом революции – благородным идеалистом и неудачником Истории. “*Демократ-самородок*”; “*превыше всех ценностей он почитал свободу*”; “*Он не был создан для революционных жестокостей*”; и т. п. [10]. Керенский проиграл Ленину, но исторически он одержал над ним победу, - считает Волгогонов.

Еще один дон-кихот революции – Ю.О. Мартов. Он также зачислен Волгогоновым в “исторические победители”. Комплексом дон-кихотства определенно страдал и Г. В. Плеханов. Дон-кихотом, но не революции, был царь Николай II, добровольно отрекшийся от власти, чтобы дать шанс демократии. России ужасно не повезло: на одном пяточке ее столицы в одно и то же время скопилось столько дон-кихотов, что они мешали друг другу штурмовать “мельницы”.

Дон-кихот – это образ человека, живущего в воображаемом мире. В политике – это доктринер, утопист. Волгогонов доказывает, что таковым был Ленин. А мне и доказывать не надо, что Керенский в этом отношении Ленину не уступал. Но дело в том, что доктрины и политические программы ничего не значат, когда речь идет о лавинообразной динамике революции, когда нужно действовать быстро, на опережение, решительно, прагматично. В этом отношении Керенского с Лениным даже сравнивать смешно. Керенский после июльского расстрела персонифицировал собой политику, которая, выражаясь словами О. Шпенглера, “вышла из формы” революции, перестала совпадать с ее тактом. Эта “бестактность” и привела его к краху. Насколько бледнее выглядит герой Февраля в сравнении с героем Октября, настолько значительнее для судеб страны и всего мира Октябрь в сравнении с его прологом – Февралем.

Волгогонов сравнил Керенского с Горбачевым. Хорошее сравнение. Очень схожие судьбы. Без сомнения, Горбачев хотел добра стране под названием Советский Союз, но объективно послужил детонатором ее разрушения. В 1991 г. французский журналист задал Яковлеву многозначительный вопрос: “В вашей книге вы пишете, что Горбачев “слишком хорош” для политика и не может решиться на необходимые меры, поскольку они могли бы повлечь за собой гибель людей. Однако в Вильнюсе люди погибли. Что же произошло?”. Яковлева неуклюже ушел от ответа [11]. Еще пример. В. Коротич свидетельствует о встрече с Горбачевым почти сразу после августовского “путча”. Когда он с иностранной делегацией вошел в кабинет, Горбачев вскочил из-за стола и, показывая свои ладони, с истерией в голосе произнес: “Смотрите, на мне нет крови!” Это уже идефикс.

Большевистский реформаторский замах при отсутствии политической воли – в этом субъективная причина поражения “перестройщиков”. Навязчивая идея формальных наследников большевиков обойтись во что бы то ни стало без крови – в этом усматривается родственная связь. Дети хотели искупить вину отцов, но урок их борьбы не усвоили.

Дон-кихоты – несовременные люди. В частной жизни они забавны, в политике опасны, если же становятся лидерами – страшны. Волгогонов в своих книгах рефреном проводит тезис: “Власть порочна”. С таким убеждением в политику идти нельзя. С таким убеждением нужно идти в монастырь.

О большевизме

Критика большевизма – одна из основных тем книг и публичных выступлений А. Н. Яковлева. Он оценивает это явление в широком историко-культурном и политическом контексте. Большевизм, с его точки зрения, – это радикализм, ставка на революционное насилие в борьбе за власть, социальная инженерия, утопизм цели,

догматизм теории, психология “большого скачка”, нетерпимость, “синдром врага”, презрение к морали, принципиальный антидемократизм, примат тоталитарного государства над обществом и личностью [12]. Особо следует подчеркнуть, что Яковлев считает, что большевизм – продукт *всей* российской истории. Выступая в Гарварде 17 ноября 1991 г., Яковлев говорил: “Многие сейчас “воюют” с последними семьюдесятью годами не на жизнь, а на смерть, как если бы не было до этого тысячи других лет, предопределивших победу большевизма в 1917 году. История страны искусственно разрывается на части. Только раньше их было две: большевизм и свергнутое самодержавие. Сейчас же – три: большевики; то, что было до них; и то, что будет после” [13].

Исторический большевизм умер, но оставил после себя наследство в виде разных форм необольшевизма. Сегодня того же Яковлева пугает антикоммунистический необольшевизм. Он критически относится к радикал-либералам гайдаровского толка, которые по-большевистски экспериментируют с Россией в области “строительства” рыночной экономики.

Волкогонов сужает большевизм до степени проекции Ленина вовне – в партию, в советское государство. Не мудрствуя лукаво, победу большевиков в гражданской войне он объясняет их “преступно-уголовными” методами борьбы со своими противниками, “нечеловеческой жестокостью”, “беспощадным красным террором”. Причем подчеркивает, что *“террор родился не из “реалий гражданской войны” и “неповторимых обстоятельств”, как любят говорить “защитники” Ленина, а из предельно жестокой философии ленинизма”* [14]. Стремясь убедить читателя в этом, Волкогонов обрушивает на него вагон сногшибательных фактов, которые он, пользуясь правом “первой ночи”, накопил в суперсекретных фондах архивов. Видно, он полагал, что факты сами за себя говорят, вернее, их количество. Я же предлагаю задуматься над сутью *государственного террора* в годы гражданской войны, то есть такой войны, в которой “все против всех”.

Марксизм лишь отчасти прав, когда утверждает, что историю делают массы. Историю делают государство и народ во взаимодействии друг с другом. В 1917 году обвалилось монархическое государство. Неразвитые гражданские структуры самоорганизации того же народа оказались просто не в состоянии сдержать цунами народной стихии, которая и стала главной действующей силой революции. В советской историографии тема противостояния народившегося большевистского государства вооруженной народной стихии (крестьянские, национальные, полубандитские и откровенно бандитские объединения, отрицавшие саму идею государственности), замалчивалась по понятным причинам. А между тем именно это объясняет *двойственность поведения большевиков в революции*: как революционная сила они использовали народную стихию для того, чтобы свалить Временное правительство, а как новое государство они беспощадно подавляли анархическую вольницу. Вспомним, как оценивал Ленин силу мелкобуржуазной стихии: опаснее, чем Деникин, Юденич, Колчак вместе взятые.

Жестокость Ленина, оправданная или неоправданная, в целом *соответствовала* духу и обстоятельствам гражданской войны. До тех пор, пока не была истреблена значительная масса взявшихся за оружие людей *до уровня ниже критической массы*, с которой война началась, – до тех пор не иссяк *дух гражданской войны*, и до тех пор она продолжалась. Собственно, к террору прибегли все воюющие стороны, он и был *средоточием* гражданской войны. Я не отрицаю, что в ходе осуществления *политики* красного террора были допущены чудовищные злоупотребления властью чекистами и др. Дать шариковым в руки оружие и вручить мандат на “законный” отстрел людей – это страшно, но именно таковы реалии гражданской войны. Во всяком случае, формы реализации политики нельзя выдавать за ее суть и уж тем более нельзя объяснять победу большевиков тотальностью их террора или, того хуже, демоническими качествами их вождя, “гениального злодея”. Как говорил Мераб Мамардашвили: “Если я начну рассуждать... в терминах добрых и злых качеств людей, то запутаюсь, я буду в сфере неинтеллигибельного” [15].

Все проклятья, которые Волкогонов мечет в адрес Ленина на сотнях страницах, нейтрализуются одной только мыслью, одной цитатой, которая принадлежит К. М. Кантору. В превосходной статье “На башне броневика и в мавзолее” он пишет: *“Жестокая ленинская революция спасла Россию от самой себя, от таившейся в ней саморазрушительной богатырской бунтарской силы. Ленин соединил в себе (как предвидели это многие) “Робеспьера” и “Пугачева”, но так соединил, что “Робеспьер” одерживал верх над пугачевщиной, захлестнувшей Россию, и над “Пугачевым” в самом Ленине. Убежденный государственный, противник анархии, он вошел в самую гущу смерча и укротил его суровой, чем Алексей Михайлович восстание Разина, а Екатерина II восстание Пугачева”* [16].

И последнее. Часто можно слышать фразу о “семидесятилетнем господстве большевизма”. Думать так, значит восстанавливать в своих правах советскую концепцию истории КПСС или западную теорию тоталитаризма Бжезинского – Фридриха. Стоит только задаться вопросом: Брежнев – большевик? – и станет ясно, что большевизм – это лишь революционная стадия в развитии коммунистической системы. Уже сталинизм нельзя отождествлять с историческим большевизмом. Б. Г. Капустин высказывает точку зрения, что советское руководство в эпоху Брежнева сознательно “дезактивировало” коммунистическую утопию с целью снизить порог массовых ожиданий [17]. Партийно-бюрократическая элита хотела избавиться от обязывающей ее со стороны “народа” идеологии. Здесь мы наблюдаем полную аналогию с тем, что происходило в католицизме накануне Реформации: в народных низах, в массе рядовых коммунистов еще сохранялась, хоть и

деформированная, вера в коммунистический идеал, тогда как в верхах царили цинизм и энергия использования этого идеала.

История советского коммунизма в целом была историей высокого стиля, а закончилась гэкачепистским фарсом. (Гэкачеписты – большевики?) С позиции формы, это вполне законченная, исчерпавшая себя история. Впрочем, большевизм умер, да здравствует неолевизм! Ельцин по политическому темпераменту, по природной склонности “идти до конца”, цепляться во что бы то ни стало за власть – это, несомненно, “большевик в себе”, а его антикоммунизм – всего лишь примета времени. Важнее то, что он – не случайная фигура в истории российской государственности. Герой смутного времени, он действует в присущем ей такте. Он достойный преемник царственных большевиков прошлых эпох.

Политик. Идеолог. Историк

У О. Шпенглера есть фундаментальное различие двух типов людей. Это – герой и священник. Герой живет в мире “фактов”, священник – в мире “истин”. Герой и священник – это прототипы политика и идеолога. Политик – деятель, идеолог – созерцатель. Политик – человек судьбы. Быть судьбой или претерпевать судьбу – вот в чем вопрос для государственного деятеля. Поэтому по своему складу он скорее иррационалист, чем человек системы. Это не мешает ему быть прагматиком. Его прагматизм состоит в строгом учете фактов. Именно факты, а не теории служат ему ориентирами в политической борьбе. Великий политик обладает сильнейшим инстинктом власти. Упрекать его за это – все равно что рыбу упрекать за ее водный образ жизни. Именно этим занимается Волкогонов в отношении Ленина.

Продолжим ассоциативный ряд Шпенглера. История – это женщина. Государственный деятель, имеющий историческую судьбу, повернут к ней как мужчина. Священник, напротив, отворачивается от женщины прочь. Она может осквернить его чистые религиозные помыслы, встать между ним и его богом и погубить его душу. Но священник не только бежит от женщины, он осуждает ее на смерть за “колдовство”. Таков Идеолог и его отношение к Истории. Он – законченный моралист. *Мир как история* его не интересует; его поглощает *мир как идея добра*. Он не изучает историю, а препарировывает ее исключительно для выведения моральных уроков. Историк же, движимый бесстыдным любопытством, всю жизнь стремится приоткрыть занавеску Времени, чтобы подглядеть, чем эта Женщина в данное время занимается. Преходящие нравы, культурные сдвиги, условия “делания” политики, вообще, все то, что формирует “дух времени”, представляет для историка наивысший интерес.

Итак, политик делает историю, историк исследует ее, а идеолог судит ее. Этим многое, если не все, объясняется в направленности и тональности писаний Яковлева и Волкогонова. *Они - не политики и не историки, а именно идеологи*. Они вращались в мире политики как “священники”. Их тексты есть сплошное морализаторство, осуждение истории с позиций морали, абстрактного гуманизма и права. Так и следует относиться к этим текстам – как не имеющим серьезного научного значения.

Л и т е р а т у р а

1. См.: Волкогонов Д. А. Ленин. Политический портрет: В 2-х кн. – М., 1994. - Кн. 1. – С. 197, 235, 242; Кн. 2. – С. 385; Его же. Семь вождей: В 2-х кн. – Кн. 1. - М., 1999. – С. 55.
2. Яковлев А. Н. Горькая чаша. Большевизм и Реформация России. – Ярославль, 1994. – С. 123.
3. Там же. – С. 125.
4. Там же. – С. 122.
5. Солженицын А. И. Указ. соч., с. 463.
6. См.: Там же. – С. 503.
7. Там же. – С. 488.
8. Там же. – 491.
9. Яковлев А. Н. Указ. соч., с. 115.
10. Волкогонов Д. Ленин. – Т. 1. – С. 236, 238, 246.
11. См.: Яковлев А. Муки прочтения бытия. Перестройка: надежды и реальности. – М., 1991. - С. 235.
12. См., например: Яковлев А. Н. Большевизм как явление // Предисловие. Обвал. Послесловие. – М., 1992. – С. 224 – 241.
13. Там же. – С. 232.
14. Волкогонов Д. Семь вождей. – Т. 1. – С. 156.
15. Мамардашвили М. Лекции по античной философии. – М., 1997. – С. 31.
16. Кантор К. М. На башне броневика и в мавзолее // Вопр. философии. – 1998, № 8. – С. 102.
17. См. Капустин Б. Г. Современность как предмет политической теории. – М., 1998. – С. 278.